

НЕТ ВРЕМЕНИ

фрагменты романа "Солдат и Царь"

<...>

- Родная, знаешь, мне кажется, времени нет.

- Как нет?

- Ну вот так. И часто кажется – нет и пространства.

- Милый, а где же тогда живем все мы? И почему – живем?

Николай отодвинул тетрадь. Промокать написанное не стал: чернила сами сохли.

- Ты заметила, что мы живем только сейчас? Сию минуту?

- Да... это так. Но у нас есть прошлое!

- Аликс, прошлого для нас нет. Ты можешь его потрогать? Пощупать, вдохнуть?

Царица стояла за спиной мужа и нежно перебирала его волосы на затылке.

Кровь отлила от ее лица. Она это поняла по кружению головы. Хорошо, что на столе нет зеркала и он не видит ее бледности.

Она вспомнила, как жгла в камине свое прошлое.

Все. Без остатка. Там, во дворце. Дворецкий разжег камин на славу. Дрова полыхали. В кресле – изваянием – сидела Лили Ден и безмолвно смотрела, как царица бросает в огонь свои давние дни.

Девичьи дневники. Дорогие записки. Засохшие цветы. Милые безделушки. Вот эту тряпичную розу Ники ей подарил, когда вернулся из Японии. А вот бумажный голубок, его сделала малютка Оличка и подарила ей на Благовещенье.

И письма, письма. Все ее письма и все письма к ней. Письма Распутина. Письма кайзера Вильгельма. Письма Эллы и покойного ее мужа Сергея. Письма Иоанна Кронштадтского.

Лили, я не могу! Что не можете, ваше величество? Я не могу сжечь нашу с Ники переписку.

У меня – рука не поднимается! Так не жгите. Помолитесь и спрячьте. Значит, так хочет Бог.

Да, так хочет Бог.

- Нет. Не могу.

Горят родные слова. Горят улыбки. Горят любимые руки. Горит записка, где Друг буквами величиною с целый дом, криво и косо и смешно, царапает: «Я ПОМОЛИЛСА ЗА МАЛЕНЬКОГО ОН БУДИТ НЫНЧЕ ЗДОРОВ. ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕ ЗАЩИТИ НЫ».

- Вот и я не могу. И – никто не может. Так где же прошлое?

Руки остановили ласку.

- Не знаю... У Бога. На небесах.

- Все на небесах. Мертвые – в могилах, а все равно на небесах. Время – на небесах.

Сожженные усадьбы, убитые люди – на небесах. Земля сама летит в небесах. С определенной скоростью, ее давно вычислили.

- Но у нас есть будущее.

Голос царя звучал совсем слабо:

- Нет. У нас нет будущего.

- Но почему?

Сказала – одним дыханием.

- Потому что с нами наш миг. Вот он. Вот! Поймал! А он уже улетел. И налетел новый миг.

Другой. Все другое. И кто скажет: прошлое ли он или уже будущее?

Она едва дышала, а он, сидя к ней спиной, затылком, напротив, говорил ясно, твердо и четко, по-военному, как команду, почти жестко.

- Нет...

- Да. Есть только счастье сиюминутное. Мгновенное. В этом мгновении – весь мир. И все его вчера, и все его завтра.

- Постой... как это у Блейка... «о вечность, ты в одном мгновенье?..»

Он услышал уже плачущий, задыхающийся голос. Резко обернулся на стуле. Поцеловал одну руку жены, другую.

- Прости, я обидел тебя.

- Нет. Как можешь так думать.

- Я знаю.

Встал. Крепко обнялись. От Аликс пахло вербеной.

- Но почему же... - Она проглотила слюну. Прижалась щекой к его бородатой щеке. – Почему Бог попускает зло?

Царь обнимал ее и молчал. Вздрагивал всем телом. Как подранок.

- Видишь, что творится... Россию убивают... И Бог – смотрит на все это с небес? И не остановит? Не прекратит разом? Ведь мы так Ему молились... я – молилась...

- Это вечная теодицея. – Царь вздохнул так глубоко, что она испугалась – выдержат ли напор воздуха легкие. – Бог – это не благодный ангелочек. Ты помнишь, как Он плетью выгнал торжников из храма?

- И красную нечисть выгонит? Да? Да?

Царица отпрянула от мужа, искала глазами глаза.

Он погладил ее лоб, виски, поцеловал один глаз, второй. Ее ресницы защекотали ему губы.

- На все Его воля. Может быть, красные посланы нам в испытание. Чтобы проверить нас на прочность... на стойкость. Чтобы мы вкусили беду, тогда ярче и полнее будет радость.

- Да! Да!

- Солнце, а ты могла бы их простить?

Теперь она задрожала в его руках. Он все еще не выпускал ее.

Будто выпустит – и все: утонет, как корабль.

За нее – держался.

Аликс нахмурилась.

- Так я... стараюсь... каждый день... молиться за них и прощать...

Он опять припал к ней. Щеки соприкасались. Сонные артерии быстро, судорожно толкали кровь, бились на слипшихся шеях.

- Это хорошо. Хорошо. Прощай их. Молись за них. Всякая молитва дойдет до Господа. Самая наималейшая. А мы цари.

- Мы уже не цари.

- Но надо всех прощать.

- Заранее?

- Всегда.

- Я стараюсь.

- Но вот я воевал. И я – убивал. И вел солдат на смерть. Во имя Бога я это делал? Или не во имя?

- Боже. О чем ты. Ты защищал свою страну.

- Значит, Бог – не агнец, а воин. Он – с мечом.

- Война – тоже дело Божие, если она праведна.

- А революция? Что, если революция выметет из дома весь мусор?

- Но я не мусор. И дети наши не мусор. И жизни людей не мусор.

- Жизнь сплетников, что отравили жизнь нам, вот мусор. Или ты не помнишь, как тебя в Петрограде травили? Да по всей России.

Говорили, тесно обнявшись, торопливо, слишком тихо, боясь не успеть, а вдруг не выскажут всего, тайного, больного, самого главного.

- Помню. Значит, принять Бога сурового?

- Да. Принять. Он один. И мы Его дети.

- Но Он казнит своих детей.

- Саранча тоже летела на поля и пастбища Египта. И дети Риццы погибли, и она бегала возле них, распятых, с пучком розог и отгоняла ворон, чтобы не выклевали детям глаза. И Давид побил несметно филистимлян ослиною челюстью. И Юдифь отрубила голову Олоферну. Бог проливал океаны крови. Но Бог и милостив.

Вот теперь, держа за плечи, отодвинул ее от себя. Глаза его, с прозрачными серыми радужками, горели ясно и чисто, будто он только что умылся.

- Вот. А ты говоришь – Бог суров.

- А ты говоришь – теодицея.

Оба тихо, прозрачно засмеялись.

Хотя не до смеха было.

Каждый смеялся, утешая другого.

...а еще царь не раз говорил жене, то ли внушая ей это, то ли утешая, то ли сам себе зубы заговаривая: вот они все, как заведенные, твердят - пролетарии, пролетарии, но милая, в России же никогда не было никаких пролетариев, русский пролетарий - это чушь, химера, это просто морок, его нет и не было, его выдумали, да кто угодно: эти бородачи Маркс и Энгельс, этот полоумный Плеханов, и этот... этот... как его... с волосами как осьминожки щупальца...

а!.. Троцкий... а у нас - в России - всяк, кто трудится в городе, всякий заводской рабочий, всякий халдей в ресторации, всякая горничная у барыньки, любой садовник, любой банщик, любой последний подметала в нумерах и дворник с метлой и лопатой - все связаны с деревней, у всех корни - на селе! В земле - корни! Россия - земельная страна, крестьянская земля! И никогда никакому крикливому Ленину не побороть русского мужика! Не свернуть ему шею, ведь он силен как бык! Весь этот большевизм как вспыхнул, так и погаснет.

Причем только в городах. Деревню ему никогда не одолеть. Милая, говоришь, все наши красные солдаты, вся наша охрана - из деревень? Что ж, может, ты и права. Но это те, кто из нее удрал, кто соблазнился безнаказанными грабежами и убийствами. А тех, кто остался на земле, все равно больше. Все равно! Я - верю в это!

...и царица слушала, кивала, качала головой, вроде бы одобряя, и вроде бы не соглашаясь, - и, умолкнув, он не знал, что еще говорить; он брал ее руку, рука пахла вербеной, кислой капустой и зубным порошком, и целовал уже натруженные, как у пролетарки, с набрякшими узлами вен, любимые руки.

...Царица сидела с ногами на кровати, прикрыв ступни этим позорным, драненьким одеялишком, и читала письмо из Тобольска. По мере чтения тонкие, изогнутые ее брови сдвигались к переносице. Царь лежал рядом, вытянув ноги, в исподнем, поверх одеяла.

- Ты не мерзнешь, Sunny?

Александра ласково ущипнула мужа за кончик носа.

- Нет. От кого письмо?

- От Лизы Эрсберг.

- О чем пишет?

- О наших лекарствах.

Глаза царя сверкнули, словно две блесны под толщей быстрой холодной воды.

Лекарства, этим словом они смешно, по-детски обозначили их фамильные сокровища.

Так и называли драгоценности – и в письмах, и в разговоре; во всех красных домах стены имеют огромные красные уши.

- И что?

- Просит, чтобы мы оставили все флаконы и пилюли в Тобольске. Пишет, что... в дороге лечебные свойства могут выветриться, ибо не все пузырьки... плотно заткнуты пробками...

И вот еще... - Прочитала, слегка запинаясь. – «Наследнику Цесаревичу в любой момент могут понадобиться снадобья и притирания, а также компрессы и чистый спирт. И, если поднимется жар, без пилюль мы не обойдемся. Настоятельно прошу Вас, Ваше Величество,

подумать и не лишать нас Своим Августейшим приказом столь необходимых для Наследника и Великих Княжон лекарств». А? Как тебе?

Царь вытянул по одеялу ноги, закинул за голову руки и сладко, долго потянулся.

- Ники! Как можно быть таким безмятежным!

- Мятежными пусть будут мятежники. Дай письмо.

Царь взял листок и бегал по нему глазами.

- Ну и почерк. Или это я стал слабо видеть?

- Лиза всегда так пишет.

- Ну давай подумаем. Может, и правда оставить?

У царицы руки крупно колыхались. Она выдернула бумагу из рук царя.

- Лиза очень просит. Умоляет. Они все просят. Они говорят – здесь, на Урале, очень страшно.

Лекарства могут разбить... испортить. Вылить из флаконов и налить, представь, яду! Лиза пишет: там у вас обыски...

Тыкала в хрустящий в руках царя листок узким властным пальцем.

- Я все равно прикажу ей! Все равно!

Отбросила одеяло. Гневно вскочила с постели.

- А ты лежишь!

Царь смеялся.

- Душка, ты такой мне нравишься. Нравилась всегда. Ты такая хорошенькая, когда сердишься.

Дряблый подбородок царицы чуть колыхнулся. Она отвернула голову, и царь видел, как ее маленькое ухо обкручивает, обвивает кольцом седая прядь.

- Делай что хочешь! С лекарствами – это твое решение. Я полагаюсь на тебя.

Царица неожиданно быстро встала перед кроватью на колени и покрыла мелкими, детскими поцелуями голову и грудь царя.

- Спасибо, спасибо тебе! Но я, нет, не буду решать, не я. Мы – оба! Как ты скажешь, так и будет!

Царь, продолжая улыбаться, махнул рукой:

- Выполнять приказ!

Когда жена села за стол и окунула перо в чернильницу, улыбка быстро сошла с его лица.

Она писала, ее плечи шевелились; шевелились, сходились и расходились лопатки под серым шерстяным лифом, а он все смотрел ей в спину, смотрел тяжело и долго, бесконечно смотрел. Потом глаза устали и сами закрылись. Задремал.

А она все сидела за столом и быстро писала, и так же быстро шептала:

- Свобода – это право и счастье всех... я верю, что красные комиссары все поймут и отпустят нас на свободу... мы верные граждане своей страны... мы служили ей верой и правдой... грядет счастье... надо верить в лучшее... лекарства всегда нужны, они всегда должны быть под рукой... мы должны быть всегда здоровы, это угодно Господу... только у-па-куй-те флаконы как можно тщательнее... чтобы не пролилось ни капли... особенно те лекарства, которые необходимы Наследнику... и только не пе-ре-пу-тай-те...

За светлым, обласканным солнцем стеклом не видно ничего, кроме белого зимнего тумана. Метель весной. Известковая слепая метель. Снег залепил окна, и они вроде как в Тобольске, и еще будет, только будет Христово Рождество.

За светлым, обласканным солнцем стеклом не видно ничего, кроме белого зимнего тумана. Метель весной. Известковая слепая метель. Снег залепил окна, и они вроде как в Тобольске, и еще будет, только будет Христово Рождество.

* * *

Глубокой ночью, в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие.

А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны – распахни дверь – сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?

А им так захотелось. Днем – выпались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня! Ушей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают?

Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело.

А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь нынче ночь с четверга на пятницу; и сон такой – мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

Какая мгла, мы же вон – на столе – свечку жжем!

При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

Настинька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут.

Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... вот этот...

А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

А эту... пуговицу куда, Тата?

Оличка, думаю, вот сюда. И к ней... рядом... давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет, и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером – Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга – зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь – оркестр. Драгоценности – ноты. Иглы и нитки – скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

- Прячь лучше... все видно...

- Вот прекрасный лиф. Давай... вот тебе подкладка... я сама вырезала...

- Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

- А сами не можете, ваше высочество?... ладно, давайте...

- Ольга. Держи. Не вырони. У тебя руки трясутся.

- Это у тебя трясутся.

- Не возводи на меня поклеп.

- Ваше высочество, дайте я.

- Сашинька!.. какая ты добрая.

- Тут была пуговица зеленая... зеленая...

- Изумруд, что ли?... это папа подарил мама на свадьбу...

- Тихо... не ори...

- Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом. Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит? Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее. Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем. Мама сказала, есть отряд верных офицеров. Тата, Таточка, а ты правда веришь в это? Тише!

Нянька Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашиньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать – наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом – девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

- Душки, а может, запереться?

- Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.

- А ты делай так: бери холщовый лиф... вот... камни насыпай в лиф платья... вот так...

накладывай холст... и зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам... а потом прошей насквозь, простегай, ну, как одеяло...

- Вот так?..

- Да, миленькая, именно так... У тебя – получается...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души – не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

- Лиза!.. кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!

- Никого... тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю.

Игла прокалывает жизнь по краю. По краю.

И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они – живые иглы, и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия скидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время; если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра, говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... на земле мир, в человеках... благоволение...

- Таточка...

- Что?.. тише...

- А мама мне говорила: нельзя причинять боль никакому живому существу...

- Все верно говорила... шей...

- Она говорила: каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль... и ужас... и даже камень – чувствует... А наши камни – чувствуют?.. вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем... какими-то нитками... они тоже живые?..

- Шей, Стася... все – живое...

- А животные?..

- Что – животные?..

- Мы же их убиваем... а потом едим... им тоже больно...

- Всем больно...

- Оличка, я знаю, что всем... а что, если вообще не жрать мяса?..

- Настя, не жрать, а есть... Настя, мы же не едим мяса в пост...

- Пост – проходит... и потом опять мясо...

- Лиза! Поддай мне вон то ожерелье.

- Длинное, жемчужное?..

- Да... в нем мама была... на коронации...

- Господи, какое красивое... я будто век не видала все наши драгоценности...

- Ну вот смотри и запоминай...

- Да я и так все помню...

- Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга...

- Ой, тогда я – первой выйду!..

- Настинька, сначала жениха заведи...

- Саша! Знаешь что... встань... и пересядь на кровать, к нам... а сама ножку стула – в ручку двери воткни... так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

- Нас всех здесь много... я кровать продавлю...

- Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории.

Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле.

Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно, и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка?

Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задыхающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! – жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзы госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, - драгоценности, вот они – свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы уйдем! – и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток, - умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, - это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, - так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунами, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, - а сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, - а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. воскрес из мертвых, смертью смерть поправ... и сущим во гробех... живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... драгоценность...

- Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... давай я вставлю.

- Спасибо, душка, я сама.

- Тебе плохо видно. Свеча догорает.

- Свеча?.. да, и правда...

- Правда?..

- Все, все правда...

- И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?

- Да.

- А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

- А рубин похож на кровь, Тата.

- Настя, что ты болтаешь.

- Девочки... девочки... умоляю, тише...

<...>

* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ

Какая музыка звучит! Какая музыка играет, когда здесь пулемет строчит, а здесь - с молитвой - умирают!

Какая музыка... теперь... постой... минуты улетают... пока открыта в небо дверь, пока за дверью смерть рыдает.

Какая музыка... молчи... хрипят... кричат... стреляют, слышишь... Жгут у иконы две свечи. И обнялись. И еле дышат.

Какая музыка...

...да разве жизнь - это музыка? Это все штучки благородных салонов, рояли это все барские, старые, желтые, источенные жучком, широко развернутые на пюпитре ноты. А жизнь - вон она, за блестящими чистыми стеклами окна, за кружевными занавесями: бабы идут в лаптях, мужики - в грязных сапогах, и тащится тощая лошаденка, впряжена в старую телегу, в телеге свалены мешки, непонятно, с чем: с картошкой, а может, с подмерзлой свеклой, а может, с овсяными отрубями; на мешках - детишки: глаза голодные, ручки тонюсенькие, как плеточки. Плачут - как щенки скулят. И что? А то! Мы в революцию пошли, чтобы вот этот, этот народ - одеть, обуть, накормить! Выучить грамоте!

...о если бы так. Если бы так и было.

Но ведь все это было и не совсем так.

Революционеры готовили революцию ради смуты. Не все, но многие. Народом, его именем лишь прикрывались. Им важно было ввести народ в смуту - растерянным народом легче управлять, легче гнать его туда, куда задумано властителями. Сам Ленин удивлялся и восхищался: "Как это нам удалось почти без кьови взять Зимний дворец! Ведь это же пьосто чудо, батенька! Фойменное чудо! Я сам до сих пой не могу опомниться! Ну, у нас тепей вейховная власть! И уж мы ее, будьте добьеньки, не отдадим! Ни за какие ковьижки не отдадим! Никому!"

Революционеры готовили революцию ради коммунизма. А что же это такое, коммунизм? Утопия? Трагедия? Вампука? Райский сад на земле? Почему люди за коммунизм отдавали жизни? Зачем клали себя, свои сердца, мясо, кости и души в фундамент нового мира, что никогда не был построен? И не будет.

Не будет?

Для этого надо понять, что такое коммунизм.

Коммунизм - это когда все равны, все довольны, все счастливы, все грамотны, все работают, все всем обеспечены, все рождаются, вырастают, живут. А потом умирают. Нет преступников. Нет опасных и гадких болезней. Нет войн. Нет революций. Нет тайн за душой. Нет голода. Нет страданий. Ничего нет.

А умереть можно и безболезненно: кто пожелает, тому делают сонный укол.

Но это только в виде исключения. А так все умирают сами собой, тоже радостно и счастливо, с сознанием хорошо выполненного на земле долга.

Люди всегда идут за несбыточной мечтой. Так одержимый любовью парень идет за девушкой, даже если ее увозят за тридевять земель; идет, сбивая в кровь ноги, по дорогам своего добровольного страданья. Мечта тянет крепче любого магнита. Мечта выворачивает тебя наизнанку, перелицовывает, перекраивает. Из верующего в Бога ты становишься тем, кто разбивает молотком иконы и взрывает церкви.

Во что же ты веруешь? А, в коммунизм. Понятно.

Где же Бог в тебе? Неужели Он тебя оставил?

Ты шепчешь тихо: коммунизм, это будущее земли. И никуда вы все от него не уйдете. Никуда.

...мы забываем о том, что все они - и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и иже с ними, цедили сквозь зубы, когда белые наступали на фронтах и громили красных: если нас разобьют в пух и прах, - мы уйдем, да, уйдем, но мы уйдем так, что мир содрогнется; вместо этой страны оставим гнусное, чертово пепелище. Пустыню.

Мертвое поле. И ничем его не засеешь долгие годы. Века. Наш ужас запомнят навеки.
Мы убьем эту страну. Мы выкосим ее людей.

Мы будем уходить по колено в крови, уплывать отсюда - по морям крови.

Смерть. Смерть. Вот она, встает в полный рост.

Откуда? Из могил вождей?

Памятники им презрительно снесли, сдернули с помпезных пьедесталов. Отдали в переплавку. Из бессмертной бронзы отлили иные монументы.

А могилы их живы. Они шевелятся. Шевелится над ними земля.

...и над гробницами царей кровавым потом покрывается мрамор, и течет горячими слезами, как церковный воск, позолота, и жестокие, сумасшедшие ученые нагло вскрывают склепы, и вертят в руках черепа, и измеряют линейкой кости, и сомневаются, и верят. Я все думаю: в чем они сомневаются и чему верят?

Погибли цари; но ведь погиб, смертью храбрых poleg и народ.

Царей и народ смерть сравняла. Уравняла.

Там, за могилой, они нас видят, нынешних, а мы, нынешние, о них молимся одинаково: что о расстрелянных мужиках, что о царских дочерях. Я вот молюсь за прадеда моего Павла, убитого в лагере при попытке к бегству; и я молюсь за цесаревича Алексея, застреленного с отцом, матерью, сестрами и слугами там, в затхлом подвале, обклеенном полосатыми обоями; и они оба, мужик Павел и цесаревич Алексей, верю, слышат меня, и их утешает жалкая, тихая молитва моя. Они родня моя, и я родня им. Мы вместе, и мы едины.

Это чувство трудно понять тому, в ком течет иная кровь и дышит иная душа.

...Смерть не щадит никого, и бестолковое дело - просить ее обождать за дверью. Есть такая старинная шотландская песенка, ее очень любил Бетховен: миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать! Нам Дженни будет петь сейчас, и Бетси - танцевать! Мы все спорим, ссоримся, суетимся, - и мысль о смерти отталкиваем от себя, она нам не нужна, она совершенно лишняя в наших веселых и горячих рабочих буднях; она произойдет с кем-то другим, но только не со мной! Не со мной!

...другие революционеры, нынешние, готовят другую смуту. Власть никогда не радует подданных. Власть всегда надо порушить, свергнуть, уничтожить - затем, чтобы на ее месте водрузить другую власть и торжественно объявить: вот, теперь это будет самая лучшая власть в мире!

А люди-то - одни и те же. Люди-то не меняются.

Человек слаб, и человек грешен, и человек любит сладкое, и человек любит причинять боль и наблюдать смерть. Эта болезнь течет в крови человека.

И проходит совсем немного времени, и люди убеждаются, что новая власть несколько не лучше, а может, во много раз хуже прежней; что народ страдает не меньше, а еще больше; что обман, подлог, жестокость, издевательство, насмешка, истязание, гибель никуда не исчезают, а все такие же остаются; и люди ропщут, люди копят огненный гнев, и опять изливают его на власть - ведь это только она, власть, во всем виновата!

А не вы ли, родные, за нее, за власть эту, сражались?

Не вы ли жизни свои клали, чтобы - эта власть воцарилась?

Красная власть! Равенство и братство!

...то, что все неравны и никогда равны не будут, поняли уже давно. Но соблазн вновь и вновь таится в этом красном лозунге: свобода, равенство, братство. Где свобода, покажите!

Где она! И - какая она!

Какого цвета; какого ранга; какого закона!

Революция - не свобода. И любое государство - не свобода. И нет свободы и быть не может; как не может быть вечной жизни, земного бессмертия.

Это не значит, что несвободна душа.

И это не значит, что нет бессмертия небесного.

Сыграй мне это все по барским, усадебным нотам! Простучи по клавишам этот нежный, душистый мотив! Пусть за душу берет. Зажги свечи в медных шандалах! Зима за окном. Волчий мороз. Крупные, цветные, колючие звезды. Хочешь поплакать над старой, над мертвой Россией?! Плачь, пожалуй! Какая музыка поет! Какая музыка... пылает... когда под знаменем народ... идет в атаку... умирает...

<...>

* * *

...Кладовая была вся обложена цементом. Там всегда стоял холод, покрепче, чем в погребке. Пашка иной раз ставила там корзину с яйцами и крынки с молоком. А однажды подвесила к крюку тушку копченого поросенка. Поросенка закупили не на деньги, выдаваемые царям: у кровопийц свое довольствие, у солдат - свое. Деньги на поросятину выдал Голощекин из своего кармана. Погрозил Пашке: выбери самого крупненького, да если отрежешь кусок себе и заховаешь - я тебя сам закопчу!

Когда спрятавшийся на чердаке дома у Исети белогвардейский прапорщик подранил Жорку Исупова, и Жорка добрых десять дней метался в жару, качал на подушке красную, как спелая морковь, пылающую голову, Ваня Логинов догадался на время положить Жорку в кладовую, в прохладу. Жорка дышал тяжело и глубоко. Пахло блаженной сыростью и копченой поросятиной. Наутро Жорке полегчало. Его отнесли в столовую и положили на диван, где спала девица Демидова, а девице составили вместе четыре жестких стула: здесь спи! Демидова, со скорбным личиком, приседала. Книксены ее делать научила Анета Вырубова. А теперь Лямин, войдя в кладовую, стоял один посреди этого, пыльного и кем-то любимого, то сложенного в аккуратные пирамиды, то сваленного в кучи, уже переворошенного чужими руками чужого добра. Он, любопытствуя, смотрел, как человеческая жизнь неуклонно обращается в хлам.

"Каким-то вещам повезет, они останутся среди людей надолго. Какие-то - сожгут к едрене матери. Что такое вещь? Ее сработал человек. А человека - кто сработал? Бог? Не верю я уже в эти сказки. Откажутся люди от бога. Не нужен он будет им. И теперь уже - не нужен". Мороз подрал по спине, будто вместо кожи на хребте и лопатках у него была натянута диванная обивка, и ее царапали кошки.

"Что я болтаю! Боже, прости!"

"Что ты дрейфишь. Тебя никто не слышит. Здесь, в этой кладовой. Как под крышкой гроба". И дома вдруг представились ему гробами; они медленно восставали из земли, раздвигали деревянными квадратными головами влажную землю, слежалое пшено песка, и вставали вертикально, и шли, безного, безруко, по улицам, и коротким и длинным. Короткая или длинная жизнь, и человек погребает себя при жизни в домах.

"А раньше что, жил на воле, как волк? Да, и волен был, и дик, и счастлив".

"Какое счастлив. Мерз, в холоде, в голоде, брюхо подведет, выл на Луну. Убивал сородичей и ел, чтобы выжить".

"Сородичей. А сейчас мы кого убиваем? Разве не сородичей? Так где же этот чертов бог? В какой норе прячется? Все орут в уши: будешь, будешь держать ответ за то, что содеял! и бог - накажет! Нас-то он сто раз уже наказал. Тыщу. А вот он - если есть! - перед кем ответ держит? Перед самим собой?"

Взял икону, лежащую на самом верху начинающейся у половиц горки из икон и старинных церковных книг. Всмотрелся. Ну и дела! Божья Матерь, и опять без младенца. Ох, черт. Ребенка-то он и не заметил. Женщина подняла руки, а ребенок нарисован у нее на животе. В странном круге. Лямин обвел круг пальцем. Ребенок глядел ему прямо в глаза.

"Черт, у этого бога всегда такой взгляд, душу вынимает. Да нет, просто богомаз искусный! Умеет нарисовать печаль".

Палец обвел и глаза, и брови скорбного мальчика.

Лямину почудилось: он похож на больного царенка.

Он хотел осторожно и беззвучно положить икону Божией Матери Знамение поверх стопки, но за его спиной комарино пискнула дверь, и он бессознательно швырнул икону прочь от себя, даже брезгливо.

За ним молчали, но он уже прекрасно знал, кто это. Все в нем захолонуло.

- Зачем ты тут?

Пашка сделала шуршащий шаг. Будто что-то секретное прошептала сминаемая бумага.

- А тебе-то что?

- Мне? Мне всегда до тебя... что.

Говорил, но не оборачивался. "Ну, подвали поближе. Ну, еще ближе. Ну".

Но шаги больше не шуршали. Оборвались.

Лямин погладил книжку, как кошку. От корешков книг пахло мышами и ладаном. Он выпростал книгу из развала, как березовое полешко из кривой-косой поленницы, книги посыпались ну точно как дрова. Он сердито рассмеялся над самим собой. Книгу развернул. Страницы пахли сладким воском и отчего-то мылом. "Книги можно нюхать, а не читать. И все через запахи узнаешь. И читать не надо".

Вслух, с трудом, останавливаясь после каждого слова, он не прочитал - проковылял по буквам, как охотник за зверем - по наметенным сугробам:

- Не придет... к тебе... зло... и рана... не... прибли-жи-ца телеси... твоему. Яко Ан-гелом...

Своим... за-по-весть... о тебе... сохранить тя... во всех... путех твоих.

- Путех твоих, - эхом, жестко, отозвалось от двери.

- Пашка. Ну что ты какая?

Не поворачивался. Терпел.

Что-то плохое чувствовал: от Пашки, стоявшей за его спиной, исходило непонятное, тихо страшщее его излучение печали и злобы.

"Довлеет дневи злоба его..." - вспомнилось ему невпопад, ни к чему. Пашка дышала, и он слышал этот хрипящий легочный ритм, и подлаживался к нему, и дышал уже в этом ритме. Будто они на лыжах шли в тайге, с ружьями за спиной, охотиться на росомаху. Или на рысь. И за ними бежал широкий темно-синий лыжный след, вдавленный в солнечный, ярко-голубой снег. Где и когда это было? Во сне или по правде?

- Пашка, а мы с тобой...

Он хотел спросить: "охотились когда-нибудь", - но она быстро и жестоко перебила его. Как торговка в бакалее, за прилавком, среди чаев и кофиев.

- Прячься.

Она сказала это слишком властно. Он этого не смог уже вынести.

Развернулся, как мотор, и чуть не загудел - руганью, выдохом, воем. Шагнул к ней через навалы книг, старых багетов, дырявых самоваров, ушастых кастрюль, медных тазов и чайников. Все это стало рушиться, падать со звоном, почти церковным, с заводским, будто в горячем цехе, грохотом и стрекотом. Лямин старался схватить ее и заткнуть ей рот своими губами - а может, что другое с ней сделать, еще не знал, - но наткнулся грудью, ребрами на эти пугающие твердые лучи, истекающие из Пашкиной, застегнутой на все медные пуговицы аккуратной гимнастерки, высокой и крепкой груди. И застыл. Глупо, унижительно.

Оба молчали. В тишине сверху кучи-малы свалилась последняя кастрюля: маленькая, с очень длинной ручкой. Что в ней варили? Яйца?

- Сука. Что ты делаешь!

Он не понимал, почему все так.

Пашка еще немного постояла такой - жесткой, слишком горячей даже на расстоянии. Этот ее жар жег его изнутри. Он сам себе показался червем, из которого хохочущие дети вынимают кишки.

Он протянул руку, и сквозь плотный воздух боли и ненависти, ревности, ужаса, прожитых убийств, порохового дыма, бог знает чего ему удалось все-таки вцепиться в ее руку, висящую вдоль ее потешных галифе.

- Пашка! - крикнул он живым, но уже насмерть раненным шепотом. - Пашка, да ты что?! Какая муха тебя...?! Ты чо, умирать собралась?! Или... меня убить?!

И тогда она разинула рот.

У нее во рту блестели ее ровные, ненаглядные зубы. Она подстриглась, и волосы опять непослушно вились и клали новые кольца на высокую, обветренную и сильно загорелую шею. "Она похожа на рысь! Скулы, уши..."

- Зачем мне тебя убивать, Миша. - Она не вырывала руку из его потного сумасшедшего кулака. - Мы тут одни.

- Наедине и убивают, - плохо пошутил он. Голос сам куда-то уходил.

- Ну что ты такой? - Теперь она упрекала его. - Я давно тебе хотела...

Это она уже держала его руку. Пожимала ее. Смотрела себе под ноги. Около ее ноги валялась эта самая иконка, что он рассматривал минуты назад. Мать, и ребенок в круге, в выпуклом шаре живота.

- Не тяни!

Он вмиг, даже без ее слов, догадался, что она скажет.

Пашка шагнула и наступила ногой в сапоге на иконку. Богоматерь лежала ликом вверх, и Пашкин сапог пришелся на ее живот. На этот красивый, небесный, лунный шар.

Доска треснула под подошвой. Сапог крепче вдавил икону в цементный пол.

- Ребенка жду, Мишка.

"Говори, говори, ты быстро должен что-то отвечать. Говорить! Не молчать".

- Ну и... кто отец-то?

Лизнул сначала верхнюю губу, потом нижнюю. Глаз не отводил.

Раздавленная сапогом Богородица кротко смотрела на них обоих снизу вверх. И не могла достучаться до них глазами. Слишком высоко, недостижимо стояли и молчали они.

Пашка сжала его пальцы до хруста, как мужик. И - оттолкнула его руку.

Теперь они были разъединены. Ни нити, ни паутины.

- Тебе сказать?

- Ну.

- Не понукай, не запряг!

- Я сам знаю.

Он нес невесть что. Не слышал своего голоса.

Смотрел на ее сапог, твердо стоящий на иконе.

- Что ты знаешь?! Ну, что?!

"И правда, может, она не об том".

Спокойно попытался выдохнуть, усмирить себя, усмирить ее. Как бешеную лошадь.

"Да ведь так было всегда. Я всегда ее усмирял. Всегда - воевал с ней. Есть конец этой войне?"

Пашка села на корточки. Будто хотела покурить. Будто бы за ней не цементная стена кладовой тускло, похоронно светилась, а высился забор - около него всегда курили на корточках охранники. А потом сапогами окурки втаптывали в землю.

- Уймись. Прошу. Услышат.

Но она уже кричала в голос.

- Ты! Дрянь! Всезнайка! Истязатель! Пес!

Забилась себе рот ладонью, кулаком, будто пыталась съесть, отгрызть, как собака, себе руку.

И - тихо, скучно и буднично выковыряла изо рта, будто щепкой - застрявшие в зубах волокна вареного мяса, будто и не вопила на весь Дом миг назад:

- Ты.

Опять их обволокло жгучей горчицей мучительное молчание.

Она поднялась с корточек. Все еще стояла сапогом на иконе. Икона хрустела под сапогом, раскалывалась, расщеплялась, и Михаил потрясенно следил, как отломки разлетались в разные стороны из-под тяжелой подошвы. И летели в темном воздухе, святые птицы, деревянные голуби.

"Я спятил. Я схожу с ума! Что это?"

Бесполезно было сейчас думать, жмуриться, трясти головой, останавливать небыль.

Надо стоять, безропотно глядеть, терпеть.

А может, надо просто помолиться?

- Богородице Дево... радуйся...

Пашка сама обняла его. И вместо Пашки была Богородица, ее светлое чистое, без единого пятнышка, лицо, а расколотое летящее дерево уже горело в огне неба, в его цементной угрюмой, безбрежной печи. И Богородица накладывала свой лик на ужаснувшееся лицо Лямина, покосившееся, как фасад старого, на слом, дома: доски поехали, косяки подломились, как колени, дом тоже хочет помолиться и не может, он умирает.

И некому его хоронить.

...Он не хотел вспоминать, что там с ними было потом. Гнал от себя эти минуты, а они, как назло, приходили снова и снова. Не хотел опять окунаться в это болото: как Пашка плакала и целовала его, а потом крепко, больно и нещадно била по щекам; как он хватал ее руки и выворачивал их, и что-то, как та несчастная икона под сапогом, хрустнуло у нее в запястье, и она безобразно кричала, как большая рыба, распяливая рот. Как они, схватившись, боролись друг друга, и он повалил ее на весь этот вспученный, вздувшийся скарб, и что-то острое впилося ей в спину, она охнула, а он нарочно тяжело, жестоко навалился всем телом ей на живот, еще не подошедший мягкой теплой опарой, еще плоский, как всегда. Как он внезапно стал бить ее по грудям, по этому гиблому плоскому животу, словно забыв, не осознав до конца, что там, внутри, под кожей, обтянутой льном и бязью, уже живет кто-то непонятный, иной. Как она подгибала колени к животу, напрасно пытаясь защититься ногами, и вдруг с неженской, мрачной силой оттолкнула его, толкнула в грудь ступнями, грязными сапогами. И тогда он превратился в расколотую икону, одна его половина смеялась и сквернословила, а другая жалко, нежно плакала; одна половина его, Лямина, быстро и трусливо полетела в сторону и вбок, будто уползала с места преступления, чтобы никто не увидел, не уличил, а вторая скользнула в грязные, выпачканные в пыли руки Пашки, угнездилась там, и она качала эту деревяшку, как если бы это был живой ребенок. Ты уже родился, хотел спросить Лямин, как, разве ты уже тут?.. А живое полено молчало. Только прижималось к Пашкиной высокой, полной сладкого молока груди.

И вдруг Пашка отшвырнула от себя деревянного младенца, и в голове у Лямина закружилось: это он стремглав летел сквозь черные кучевые небеса, сквозь страшную грозу, вокруг гроыхало, сверкало и билось, его били огненные кулаки, по щекам, по голове, по лицу. Он отворачивал лицо, но кулаки все били, и под глазами вспухало, и лоб был весь в крови, и он понимал: его убивают. А потом его зачем-то проткнули штыком. И полетели перья. Вверху загрохотало, и он очень удивился: зачем же стрелять в мертвого, ведь я уже умер?

...Он плакал во сне. Слезы затекали ему под щеку. Он лежал в кладовой посреди убитых вещей, а на нем лежали упавшие книги. Из перевернутой кастрюли рассыпались старые сухие ягоды рябины. Из таких девки в Буяне низали бусы. Сильно пахло луком. За его затылком валялась связка сухого репчатого лука, луковицы горели в полутьме рыжими, золотыми лисьими огнями. Лямин пошевелился. Встал, отряхнулся. Выпростал гимнастерку из-под ремня и ее краем вытер мокрое лицо.

Вышел во двор. Вечерело. Нет, я не пьян, я не пил, сказал он себе. Долго курил у забора.

Затушил самокрутку о ладонь. Нарочно хотел руку ожечь. Ничего не почувствовал.

"Если встречу - спрошу. Никак мне все причудилось?"

...Он увидел Пашку, когда солдаты сели вечерять за столом во дворе. Пашка гроыхнула об стол огромной сковородой с жареной картошкой. Мускулы вздулись выше локтей у нее под рукавами гимнастерки, когда она водружала тяжеленную сковороду на узорную чугунную подставку. Охранники ели безо всяких тарелок, да не вилками никакими, а ложками; скребли по сковородке, отдирая прижарки. Сковорода быстро пустела.

- Пашке, Пашке оставьте!

- Ох, спаси бог, повариха. Уважила.

- Да, картовь што надо.

Пашка холодно посмотрела на жалкую горстку картошки, прижавшуюся к краю сковородки, как нищенка - к церковной стене. Усмехнулась. Подтерла ржаной коркой масло, ложкой быстро загребла картошку и отправила в рот.

- Вот и весь мой ужин. Отдай врагу, - прошептала.

Захотела тихо. Солдаты смотрели на веснушки, ползающие по загорелому, покрасневшему бабьему лицу, на выцветшие под солнцем пряди - она то и дело заправляла их за уши, мешали они ей.

- Хороша Глаша... да... не наша...

- А чья? - беззастенчиво, по-детски спросил Антон Бабич. Обшлагом начищал голенище. Ваня Логинов смущенно, осторожничая, глянул на Лямина. Лямин вытирал от масла рот. Бабич проследил за взглядом Логинова. Логинов подмигнул Антону.

- Такие делишки... У них все уж давно утыпано...

Пашка встала и держала сковороду за деревянную длинную и толстую ручку, хотела уже в кухню нести, когда Лямин, возя по пыли сапогами, подошел к ней.

Он видел, как ее пальцы сильнее впились в деревяшку. Посинели.

Хотел взять ее за плечо. Не взял.

Не смог убить расстояние.

- Паша, мы с тобой сегодня в кладовой... видались?

Молчала.

- Паш, это... Мы не подрались с тобой?

Молчала. Потом чуть наклонила к себе сковороду и гляделась в масляное дно, как в громадное черное зеркало.

- Да что молчишь? Я тебе... больно не сделал?

Вертела сковородой туда, сюда, будто карасей на ней жарила.

- Паша. Брось цирк. - Положил пальцы на ее пальцы, вынул сковороду из ее руки, поставил на стол. Ему было все равно, услышит его кто, не услышит. - Ты мне - о ребенке говорила?

И вот тогда она повернула к нему все свое широкое, солнцем опаленное, веснушчатое, красное, краснее флага, обветренное, грубое лицо. Да, грубое, а ему оно всегда казалось нежным. Раскрылись грубые губы, и грубые легкие вытолкнули из себя прочь:

- Уйди.

* * *

- Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда не пивал.

- Я пью, ты не гоношишь.

Люкин взял бутылку и отхлебнул из горла. Глоток вышел громкий, захлебный. Лямин аж отшатнулся.

"Ишь жадный какой. Так и все выхлебает".

Смутно подумалось о большой прозрачной четверти, что стояла в коридоре за сундуком. Четверть странного стекла, не голубого, не зеленого, а будто в стекло, когда выдували бутылку, подмешали опал или перламутровую крошку: туманная и переливалась радугой. И внутри - радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику - выпивка. В любом горе про горе забудешь. А может, его и избудешь. Пьяным, говорят, море по колено.

"Море. Море крови".

- И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи на пристань. Я два тащу. Думаю: и зачем, ну зачем людям столько барахла? И с собой возить. За собой энтот воз тянуть. Ну правильно, сами не тянут, тянут другие! На энтот, брат, вся ихняя радость и построена. Лакеи за креслами стоят: што вам подать такого-энтакого? Горничные с подносами бегут, спотыкающца: не изволите ли блян... тьфу!.. блянманже? На кухне - повара над блюдами потеют. А за ними надсматривают: то ли в супчик положили, то ли мясо стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские зубки легко ту капустку прожевали! И не дай-то бог в котел бросить не тую косточку. Али - на сковороду -

тухлый кусочек. Ешкин кот! Да тебя самого с потрохами съедят! На тую самую сковородку - и бросют! И даже не разрежут! Не оциплют! Так и сжарят, в одежке!

Захохотал хрипло, простуженно.

- Ты пей, пей. Согреешься.

- Да вроде б весна на дворе. А меня знобит. И верно, на параходе меня просвистало, на палубе. С тех пор и дохаю.

Лямин подвинул к себе стакан и налил в стакан. Люкин издал короткий смешок.

- Ты, ешки, прямо как культурный таперича. Из стакашка пьешь. А я вот прямо из ее, из родимой. - Еще раз припал к горлу синебокой бутылки, глотнул мутную, похожую на пахту жидкость. - Дотащили мы барские энти, проклятые чемоданы. Прощай, Тобольск! Когда ишо свидимся!

- Ну не зарекайся.

- Да свидимся, конешно; куды мы без Сибири-матушки? Скольки лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селедку, по матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да реки рыбные! Полюби меня, матаня, парня видного!

Люкин знал невероятное количество частушек. Вот и теперь заблажил на весь коридор, зачистил.

"Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поет".

- Я любила Ленина, я любила Троцкого, а таперь буду любить Васятку Тобольского!

Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладонями бутылку, будто грел об нее руки.

- Ты погоди... Сашк... ты давай - про пароход...

Люкин перевел дух.

- Уф. Про пароход? Про па-ра-ход?! А што-о-о-о... Да ништо. Пароход - "Русь" называцца. Чуешь, энто гордо звучит! Русь! А я смерти не боюсь!

- Хватит ты.

- Не злися, злун. Реки наши огромные, могучие. По реке плывешь, а будто по морю! Все думаю: какое оно, море? Ты вот видал?

- Видал.

- А игде?

- В Питере.

- Счастливец ты! В Питере побывал.

- Я недолго там поплясал. На одной ножке.

- А море, море-то все одно видал. Наш Тобол все лучше моря. Ширше. Говорят вот, Байкал славное озеро. Ну чисто море. Не бывал.

- Еще побываешь.

- Да какие наши годы. Конешно, поеду! Вот война закончицца... все энти смерти, ешки... и женюся, детей нарожу и с ими - на Байкал поеду. Озеро-море глядеть!

- Ты давай про княжон.

- Ну и вот мы по сходням валим на пароход. Кучи нас, народу-то. Во-первых, энти.

Приоделись, как на парад! Платьица в рюшечках, в руках зонтики несут, раскрытые, а дождя нет. Я, дурак, таких не видал никогда; а энто оказались от солнца. Штобы щеки не напекло.

За ими семянт слуги. Ну, вся энта... свита. Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик, Нагорный ему фамилие, на руках мальчонку несет.

- Цесаревича?

- Ну кого же! Мальчишка матроса за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне, сидит, и с матроса сверху вниз - на нас, на скот - смотрит. Глаза большие, по плошке. И в глазах такое... и жалко ему нас, и видно: презирает он нас. Мы для его все одно скот. Мы для всех их - скот! Скот, Мишка!

Лямин отпил из стакана. Самогон был скорее сладкий, чем горький, и пах яблоком.

"Яблоком натолкали, а еще, может, зверобоя. Зверобоем несет".

- Ты спокойней. Не блажи.

- А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! - заорал Люкин.

Лямин усмехнулся и еще выпил. Занюхал ржаной коркой. Хлеб уже исчез, незаметно.

- Тогда ори сильней. Чтобы сюда прибежали и твой рассказ слушали.

- Ладно ругаться-то, чай, не поп за грехи. - Люкин пьяно подмигнул Михаилу. - Я все, я смирный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь... и опять подпояшусь. Ну и вот, они все хлынули на палубы, по трапу, с трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими - мы. Охрана, ешки! Впереди нас Родионов. Вот странный мужик: то, знашь, наглый такой, то смирней козявки. И нашим и вашим, што ли, на дудке играт? Не пойму я его.

- Да черт с ним.

- Черт с одним, черт с другим! Со всеми у нас черти! - Люкин зубасто захохотал, и Лямин видел: у него во рту все зубы прочернели - от недоедания, от цинги. - Родионов машет руками направо, налево. Кричит: табе сюды, а табе сюды! Всех по каютам растолкал, быстро управился. Не, Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед им энти мотающа: дядька-матрос и парнишка у его на руках. Параход качат... и они качающа. Как вот самогонка в бутыли. - Люкин взял в нетвердую руку бутылъ и покачал туда-сюда, маятником. - Нагорный мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навывате! Мальчонка, вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энтот злыдень матрос, куды подацца прикажете, вашество? А вам, бьет его голосишком в щеку Родионов... а вам, вам... да ко мне в каюту! Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-а-ам?! Да ваши не пляшут. Энто - приказ! Командир приказал - ты, моряк, не смей ослушацца! И пошел матрос, волокет спящего мальчонку, и у его от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешеные лучи хлещут. Аж мне жарко стало. Дом инженера Ипатьева нежданно обратился в пароход. И плюхал, как пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя вибрацию страшных, с железными челюстями и стальными клешнями, машин в трюме, и разрезал носом тугую, теплую, темную волну майской ночи.

- День как прошел? Не помню особо. Ну так себе прошел. Мы ели, пили... песни играли... Вечер сошел. Все угомонилися. Челядь в своих каютенках притихла. А што им. Они в услужении ведь, все для хозяев привыкли робить. А тут им и робить запретили. В каютах позакрывали. Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка нужна! Правильно я говорю-у-у... Мишка-а-а?..

Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним это водилось.

- И царенка с дядькой взял да замкнул у себя в каюте. А сам думаешь, куды спать пошел? Ну, угадай с трех раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошел - не спать! Всю ночь на палубе просидел, простоял... Аккурат напротив каюты княжон. То у поручня стоит, то в белое кресло сядет. Сидит. Голову чешет. Думат головой Родионов. Мыслит, што будет. У нас на селе один татарин ходил и кричал: думай, думай, голова, шапка новый купим!

За окнами шумело. Ветер? Листва? Вода?

- А княжнам - ах-ах-ах-аха! - Смех забулькал у Люкина в глотке, как самогон. Он проглотил его. - Княжнам командир запретил на ночь запирацца! Ходил коло их каюты и кричал: я вам ключ не даю, изнутри не запретесь, снаружи тоже не запру, штобы я, значитца, мог к вам в любое время ночи зайтить и проверить, на месте ли вы! А то вдруг вы к едрене матери сбежите, в воду попрыгаете да уплывете, и поминай как звали! А мене потом ответ держать! Ах-ха... - Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по столу, пальцы порочно шевелились - сбондить, проткнуть, смахнуть бутылъ со стола, как слезу со щеки. - Да прав он, хитрец! А што хитрец? Каждый из нас... перед властью... хитрый...

В окно постучали. "Ветки", - вздрогнул Лямин и засмеялся своему детскому страху.

- Коло дверей часовых поставил. И кого, думаешь? - Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. - Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... и меня! Охо-хоха! Ну, скажу я табе... Скажу я табе, Мишка, энто собла-а-азн... Куряшкин шуточки отпускает! Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не спим, и они не спят! Де-е-евушки!

Лямина как кипятком обдало. "Неужели - покусились? Обнаглели?"

Боялся спросить. И - хотел.

- Знаю, зна-а-аю, об чем интересуюсь! - Опять это подмигивание, хитрое, сальное. - Знаю, да не скажу! Так тебе все и выдай, держи карман ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к двери прислоняли, слушали. Как они там копошацца. Как божьи коровки в кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять... головенку отогнуть... всяко мы там себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это Нагорный в стену, в дверь барабанит. И чем брякал? Сапогом? Чайником?

- Пустой бутылкой?

- Ах-ха-ха! Слышим, матрос орет благим матом: эй вы, негодяи, што за наглецы, игде такое тольки видано, мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобится, а если его на воздух надо вынести, а если он в уборную захочет?! Мы ему - через весь коридор - кричим: если ты, матрос, в гальюн захочешь - ссы в золотой царский кувшин! Га-а-а-а! А он в ответ кричит: не боюсь я ни вашего командира, ни вас всех, гады! Идите к бесу! Вы сами первые бесы и есть! Мы ему орем: а ты заткнись, полосатая гнида, царский костыль! Тебя ищо пулечка найдет! Пулечка-дулечка... дурочка-курочка... А он нам: плевал я на вас! Вы меня все равно убьете, так я ж смерти не боюсь, я моряк, я в волну глядел и смерть на дне моря видал! А у вас у всех рожи такие, такие рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы звери! Потом тихо стало. И у княжон тишина, и у матроса тишина. Все. Как умерли все. Мы уши наострили. Винтовки ближе к себе придвинули. Револьверы на боках щупам. Ну, думаю, а вдруг на парашод какой шпиев пробралси, и в окно к княжнам залез, и щас они на нас - из оружия - как лупанут?! Да хоть из пулемета!

Михаил улыбнулся углом рта.

- Лупанули?

- Игде там! Ночь она и есть ночь. Тихо, темно... Парашод шлепат себе. Безветрие. Ровно идет, как нож по маслу. Мы караулим. Веки слипающца, едрить их... Бронницкий вздохнул да и лег на пол у дверей. Руки под скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак переглянулись... как зыркнули друг на друга - враз все глазами сказали... и друг друга хорошо поняли. Хар-ра-шо-о-о-о!

Лямин тоже понял. Самогон больше не пьянил. Он вцепился пятерней в длинную гусиную шею бутылки.

- Ну, поняли.

- И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!

- Да. Понял.

- Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым шепчет Куряшкин: ну чо, ребята, рискнем? Такие курочки! Как из сдобного теста слеплены! В царской печке пекли... - Люкин сглотнул. Показал щербатые зубы. - Мы руки протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим! Так стоим... ха-а-а... што мочи нет... Опять глазами друг друга шпыняем. Шляхтин бормочет: ну, што ж? Што медлим? Руку - на медную ручку дверную положил. Рука волосатая. Я на волосы энти гляжу. И представил, как он энтот самой рукой... шарит по вороту, по шее, лямки разрывает... кружево рвет... и лапат, и царапат - энти грудки девичьи, нежные, белое мяско куриное... а другой рукой рот вопящий зажимат... эх-х-х...

Замолк. Тяжело, надолго.

Лямин завозился на стуле.

- Ну так...

- А, вошли мы али не вошли? Ишь, быстрый какой! Мы сперва захотели энтот дело сбрызнуть. Ну, и для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит. Вот, говорит, моя мене на дорогу всунула, а я ищо, дурачила, отказывался. Без закуски? Без закуски. Так оно ищо боле жжет. Каждый приложился. По первому кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрее идет... но и пьяней, однако. И што мозгуешь? Пялился што?!

Посмотрел с сомнением на бутылку.

- Больше половины... или меньше половины?.. Как знать... Плевать... Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят, небось; сидят каждая на своей койке, а то и сбились в кучку, обьмаются. Трусят! И мы - трусим. Ну шутка ли. Их же

все же нам приказали - охранять. А не... - Грубое, дикое слово вывалил Сашка; и Лямин вздрогнул кожей всей спины, так вздыбливается и встает из травы лежащий зверь, почуяв охотника. - Три девчонки. И хороши собой. Особенно хороша энта, гордая. Татьяна. Нас трое, и их трое! Ну, тут мы развеселились. И ищо глотнули! И стали, Мишка... их делить. Ну да! Делить! А што тут такого! Все честь по чести!

Волосы у Михаила превратились в ползучих змей и растопырились, и потекли с затылка, с темени - по вискам, по щекам, вдоль лица. А может, это тек пьяный пот.

- Судим-рядим. Я кричу: тебе, Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе! Он башкой мотат: нет, не-е-е-ет, я б Ольгу взял! Младшая, грит, слишком неуклюжа! Неуклюжа, ешки... Да зато царская дочь! На всю жизнь - детям, внукам - рассказов! Куряшкин ищо хлебнул, крякнул и шипит: бросьте спорить, Анастасия - мне! Ну все тут ясно. Куряшкину - младшенькая, Шляхтину - старшая, а мене, выходит так, Татьяна?! Ну все как я мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а! Лямин глядел на носки своих сапог. "Снять бы сейчас сапоги. Ноги болят. Притомились. Упрели".

- Татьяна-а-а-ана... До того горделива, зла на нас... Оборачивалась - глядела - как из глаз огонь швыряла... И штобы мы дотла сожглись в этом огне, ешкин кот... А тут я щас буду ее мять, крутить... в тепленькой парашодной постельке, ешки... Дрожим. Озверели. Водка все не кончацца, мать ее! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить! По последнему кругу пустили. Но мы уж и были хороши: нас вечерком - наливкой, целой четвертью - Агафон Шиндяйкин угостил... он наливку туую у вдовы Гермогена - с кухни украл... когда попы поминки делали...

Дом Ипатьева молчал и дрожал. И все внутри Лямина дрожало противно, скользко.

Внутри ползали скользкие жабы и длинные ящерицы, высовывали раздвоенные языки. Перед ним из ночи вышел призрак Марии; Мария укоризненно, но не гневно, а тихо, печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и ее губы шевелились, ему показалось, он различил: "Что сделали вы с моими сестрами? Зачем?"

- Я Татьяну энту - там, в Губернаторском доме - завсегда подстерегал. Она идет, а я тут как тут, под ноги ей суюсь. Ух и ненавидела она меня! Я ей, наверное, хуже жабы кажусь. А мене начхать, жаба я али какое чудище. А она - подо мной. А я - над ей! И энто, слухай, Мишка, так сладко! энто слаще всего, оказывацца!

- Даже слаще случки?

- Случка - што! раз, и кончилась. А вот энто - когда чуешь себя все время над ими - высоко над ими! чуешь себя над царями - царем!.. вот оно торжество-то игде... вот - счастье...

Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились пьяным соком, и масляный рот обнажал промасленные самогоном зубы, и масляные пальцы жирными рыбами двигались в темном прокуренном воздухе, плыли.

- Дочки кровопивца... деспота... вырастут - и станут точно такими же... Ты погляди на старуху! Ведь она ведьма!

- Ты...

Слова кончились. Остался один слух, каторжный, бесконечный.

- И вот стоим мы и думаем: как же оно лучше вперецца-то в каюту? Как - войти? Ворвацца? В воздух стрелять? Всех перебудим. Тайное дельце-то затеяли. Тихо вползти? Мол, штобы поглядеть, как они спят? По головам счесть? Растерялися. Опять переглядываюсь. Шляхтин весь колыхацца. Как в падучей. Руку на ручку положил. Ручка забавная. В виде птичьей башки. То ли павлин, а то ли орел. Орел! Царская, значитца, ручка. Медно, красно блестит в ночи... Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...

Бормотал все тяжелей, все тише. Стискивал бутылку кулаками. Дышал в нее, как в чей-то чужой женский рот перед поцелуем.

- А парашод, едрить его, все идет... Тарахтит... Машины скрежещут... Маслом машинным пахнет... Чую, горячо, жар там, внутри, в железном брюхе... Идет... Живет... А мы щас снасильничам энтих девок, голубую кровь энту - и што?.. они назавтра все - вот те крест - с палубы - в темную воду попрыгают... на дно, к ракам... Э-э-э-э, думаешь, я спужался?! Да

ништо! Никогда еще Сашка Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... с медного орла - стряхнул... как крошку... и сам - руку... на эту ручку... положил...
Лямин уже слышал голос, будто сквозь печную заслонку.

- И нажал... Повернул...

Лямин будто спал уже, а и не спал.

Глаза открыты, а разум улетел.

- Слышу: сопят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают... плечом напирают... Энто Куряшкин, плечом-то... И вдруг... хлобысь!.. валицца будто мешок с камнями... бух на пол... и звон, трезвон... бутылка по полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не понимаю, а стрямко мене... Выгнул шею-то - а сзади... Шляхтин - без почуха свалился... И бутылка по паракоду катицца... прочь...

Обоими кулаками крепко сжав, поднял бутылку и допил остатки. Глотал быстро и крупно.

Пил, как воду в жару.

- Куряшкин меня - в скулу кулаком сунул: ну, ты... войдешь?! Оттиснул от двери... сам шагнул... и за порог сапогом зацепился... и тоже растянулся... ругацца скверно, блядословит... я ему - сапогом - на хребет наступил... давлю: ты, хватит!.. поигрались... попрыгали в кроватках с царевнами...

И вдруг вскинул голову и громко, отчетливо, как и не опьянел в доску, прокричал, будто с трибуны - народу:

- В бога! Душу! Мать!

Голова Лямина отделилась от шеи и поплыла в мрачном прокуренном воздухе сама по себе.

Смотрела на все сверху сизыми, цвета водки, глазами. Все наблюдала. Примечала.

Голова видела сама свой затылок, без надоевшей фуражки, мокрый от ужаса лоб, и как Сашка допивает водку и бутылка выпадает у него из рук стеклянным клубком и катится, а кошки нет, чтобы поймать; а где-то рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а может, не лежит, а плывет, и вокруг него спасательные круги на стенах каюты, и скрипит зубами матрос Нагорный, скрипят винты в пазах, трещит обшивка, лязгают железные кишки в трюме. И эти девочки. Они плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.

- Шаги... Рядом... Командир... Он же не спал... На ветру - стоял... Так вашу так! Товарищ Родионов, виноват! Расстреляйте! Ты... хрипит... тащи его... за ноги... а он уже?... али ищо... А я ему: не знаю, товарищ командир... откуда я знаю...

Ветки плыли мимо. Ночь плыла и плескала в лицо, охлаждала волной плывущую голову.

Пьяным соловьем щелкало, заливалось сердце. Вот-вот тоже выйдет из груди, рассмеется и поплывет.

- Мы - пьяные... пъя-а-а-аные... нам все прощают... потому што мы-и-и-и... пъя-а-аные... И нет на нас управы... а зачем управа?... кто ее выдумал?... мы сами себе управа... и так отныне будет всегда... во веки веков... аминь!.. к лешему... надрался я...

Икнул. Выблевал на стол ржаной шматок.

- Я оттащил... в угол... сперва Шляхтина... потом Куряшкина... а може, наоборот... а какая разница?... оттащил - и свалился на их... сам упал... Командир меня обкостерил сверху донизу... голосом - отхлестал... а я только вздрагивал... блаженно... И засыпал...

Люкин упал носом в свою блевотину. Поднял чугунную голову и стряхивал грязь ладонью, как кот, умывался лапой.

- А утром... што утром?... утро как утро... Обычное утро... Водичка под солнцем блестит...

Весело идем, ходко... Чайки выюцца за кормой... Мы - винтовки вынули... пулеметы на палубу выкатили... и давай в птиц стрелять!.. Охота же... Любо... Ну, любо... Мужики же мы... али кто... нам только дай пострелять... хлебом не корми... напутал я... к лешему-кикиморе!..

Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудку ей... она - падала... крылья сложит и камнем вниз... в волны... а волны - трупик несут... Кричат они противно!.. Противные птицы!..

Гадкие!.. Из пулеметов - по чайкам... пли!.. Всех перестрелям!.. всех!.. все-е-е-е-ех... И никто

нам не указ... На виселицу нас тащите... на плаху... к стенке... а мы все равно - вас всех - перестреляем... вас!.. кто посягат на нашу свободу... на нашу!.. Свобода... свобода... Голова Лямина, ее уши внезапно услышали донесшееся из глубокой глубины, из дальней дали: "Эх, эх... без креста... Тра-та-та..."

...Это в Губернаторском доме, в зале, на маленькой нишей сцене, заезжий артист из Петрограда читал царям новомодные стихи. Как его пропустили к пленникам? А может, он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при себе? А тайных писем? А режущих и колющих предметов? Правда ничего нет? Ну, мы проверим.

- Эх, эх, без креста...

- Без какого... перста?..

Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на столе, бормотал последнее, бредовое:

- Дочки убийцы... Убийцы... Распять их... вытрепать... и убить... А ключ-то в замке трещит!.. Кто закрывает каюту?.. кто приказал?.. кто... на ночь?.. до утра?.. Но утро, утро уже... утро... утро...

За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось в комнату. Лямин выдыхал перегар и страх. Ему стало беспричинно весело. А голова? Опять приросла к шее, как ни в чем не бывало. Вернулась.

Только плитки, эти чертовы пароходные плитки, зачем они все шлепают по воде?

<...>

* * *

Теплый, слишком теплый, горячий ветер веял откуда-то из дальних, зауральских степей. Там, далеко, мерно и важно качаясь, шли верблюды; раскосые бабы доили кобыл, добывая кумыс – Лямин уже не раз пивал степной кумыс, и здесь, и в Тобольске, да и в Самаре однажды, на рынке, подошел к толстой огромной, как гора в Жигулях, казашке – длинное цветастое платье мело пыль, круглое, красное, сверкающее под солнцем медной раскаленной сковородой лицо сморщилось в беспричинном смехе, оборотясь к Михаилу, - протянул ей денежку, и она налила ему в кружку белый пузырящийся напиток. Кумыс щипал язык, кислил, обжигал глотку не хуже водки.

«Кумысику бы сейчас. Жарко».

Так жарко, даже курить не хотелось.

Сидел на крыльце, как обычно, такой легкой посадкой – свистни, и вскочит быстро, пружиной хребта подброшенный: будто и не сидел вовсе, а шел, летел.

Всегда был легкий и на ногу, и на подъем. Куда позови – сорвется, поедет, побредет.

«Помыкной» - звал его отец, и Софья так же звала.

Софья. Отец. Живы? Мертвы? Все умерли. Всех убили. Он сердцем чувствует. А у него даже ни фуражки отцовской, ни шарфика сестринского на память. Все поразграбили людишки, да и дом-то, видать, пожгли. Вернется, а там пепелище. Если... вернется.

«А то не вернись? Вернись, куда я денусь».

Тер ладонью засаленные на коленках штаны.

«Портки у меня бывалые. Надо бы поменять. Деньгу комендант даст – пойду в лавку, новые куплю. В этих – уж стыдно. Да и покрепче надо взять. Чтоб матерьял потолще».

В ветвях дерева, над забором, залиvisto пела, восхваляя любовь, неведомая птица.

Лямин задрал голову, взглядом пытаясь нашарить птицу в переплетеньи ветвей.

«Птаха. Поет. Поет себе, поет, один день живет. Ну, один год. Ну, пару лет, а дальше ходу нет.

Так и человек. Думает: по себе память оставлю! Кем, чем? Собой? Так мы все в ящик сыграем. Детишками? Ну, нарожаем; а они возьмут да перемрут. Сейчас все друг друга норовят ухлопать. Детки, старики – смерть не разбирает. Родит баба... а тут налетят и убьют...»

Мысли текли смутные и горькие, слишком рядом со смертью.

Она торчала из солнечного жаркого вечера выступом тьмы, серая ее ухмылка моталась в прозрачном летнем воздухе, и все чувства, на нее наткнувшись, одновременно тонули в ней и упирались в нее, пытаюсь сломать, а может, пробить и выйти наружу с другой ее стороны. Но другая сторона смерти тоже имела лицо.

И там тоже мерцала, издеваясь, та же серая, во всю рожу, ухмылка.

«Никуда от тебя, матушка, не деться».

Лямину подумалось: смерть, ведь это же земля, всех земля породила, все в нее и уйдут, и ничего тут страшного и такого особенного нет. Пора и привыкнуть, за сто-то, за тысячу веков.

«Обрастает человек вещами, избами, дворцами. Да всем обрастает: моторами, тюрьмами, армиями, судами. Виселицами. Ружьями. Друг друга бьет. А свое все хранит. Иной раз над безделкой трясется, не над живой душой. Над шапчонкой вязаной – мамка связала... над халатиком тепленьким: бабка пошила... Над ножичком – бабкин нож, с ним на охотку батька ходил... Над иконой Владимирской Божьей Матери: на нее твой прадед крестился... А нож украли, отобрали; а шапчонку да халатик, да валеночки твои детские, да шубенку заячью – вместе с избою – спалили. И Божья Матерь от пламени – не защитила. Огонь все сожрал! А ты – жив. Но и ты когда-нибудь умрешь! Скоро!»

«А как – скоро? Когда?»

«Пес знает. Или – Бог!»

«Бог, Мишка, Бог».

«Да они все в один голос поют, что Бога нет!»

«Да ведь, может, и нет. Тем легче».

«Легше? Не верю».

Лямин отмахнулся от вредных мыслей, как от мух. Как кот лапой, возле уха рукой махнул.

И правда, курнуть бы. Авось махра всю эту вечную саднящую боль разгонит.

И хотел было уж в карман залезть и пакетик с махоркой уцепить, да скрипнуло крыльцо под тяжестью еще одного тела.

Лямин, не вертя головой, глаза скосил.

Юровский!

«Вот чудеса. О чем я буду с ним, с таким важным комиссаром, балясы точить?»

Яков Юровский опередил солдата.

- Отдыхаем, боец Лямин?

«Прозванье мое помнит».

«Да он тут всех помнит. Он – ушлый».

- Так точно, товарищ комиссар.

- Просто – Яков.

Юровский длинно и неожиданно тяжело вздохнул, и Лямин вздох этот слушал с уважением.

«И комиссары тоже устают. Работа тяжелая».

- Так точно, товарищ... Яков.

Юровский закурил, медленно двигая локтями, странную, с цветной нашлепкой, папиросу.

«Должно, иноземная. С наклейками».

Лямин следил, как летает красный горящий мотылек папиросы ото рта Юровского к колену.

Руку с папиросой он клал на колено, дым вился вверх, и Юровский, львино раздувая ноздри, всасывал его горбатым носом.

- Устал, боец? – мыслями Лямина о нем спросил он Лямина.

- Да есть такое дело, товарищ... Яков.

- Просто – Яков. Просто.

«Да не могу я просто. Ну как ты не поймешь».

И здесь, внутри революции, тоже было разделение на слуг и господ; он вот сейчас понял это.

- Все устали.

- Да, выходит что так.

- Ну ничего. – Юровский некурящей рукой похлопал Михаила по колену. – Немного еще потерпеть.

- Немного?

- Надеюсь.

И все. И замолчал.

Молчали оба.

Михаил ворочал мозгами, как тяжелыми жерновами.

Мысли смыкались и размыкались, чудовищные жвалы, перемалывая догадки.

Но вслух не спросил: а сколько, мол, осталось?

«Что – осталось? Сторожить? Жить?»

«Белочехи с востока идут. Сибирь полыхает. Запад тоже взвился весь».

Юровский заговорил сам, первый.

- Ты вообще ни о чем плохом не думай, боец. У нас руки-ноги железные, а головы – что тебе моторы. На наших мозгах мы – до полюса доедем. До Луны, до Марса – долетим!

Понимаешь?

- Как не понять.

Лямин боялся что-нибудь не так сказать.

«Ляпну что невпопад – и к стенке меня. К этому вот заплоту».

Юровский неожиданно, среди полной серьезности и густого табачного дыма, подмигнул Лямину.

- Так вот этими руками, кулаками, - Юровский сунул в зубы папиросу, сжал ладони в кулаки и вытянул вперед руки, и Лямин на кулаки эти смотрел зачарованно, как на фокус в цирке, - мы – страну – погоним вперед! Вперед! А не назад! Слышишь?

Через папиросу, через дым чекист смешно шепелявил.

Лямин кивнул головой. На всякий случай опять молчал.

Юровский разжал кулаки и двумя пальцами вытащил из зубов папиросу. Выдохнул дым, снова длинно, тяжело.

- Сначала – Россию погоним, а потом – и весь мир!

«Мировая революция, да, они все о ней говорит. Кричат! На каждом углу!»

- Вот этими железными кулаками, понял? Нет, ты понял?!

Хлопнул Лямина по плечу.

- Твоими – кулаками!

«Надо что-то отвечать, а что?»

- Куда погоним? – глупо спросил Михаил.

«Эх, что балакаю, и сам не знаю. Вдарит он мне сейчас!»

Юровский захохотал – негромко, тонковато, хитровато. Смех его на птичье чириканье смахивал.

- К радости! К счастью! – тонко выкрикнул Юровский.

У Лямина на спине все волоски и даже все родинки встопорщились.

Смеяться вместе? Поддакивать? Выкричать что-то гневное, против? Смолчать?

- И этих, - растерянно кивнул на раскрытую в дом дверь, - тоже?

- Этих? А у них одно счастье! – Юровский досасывал чужестранную папиросу, искал глазами, куда бы зашвырнуть окурок. – И они про него – догадываются!

Через два, три мгновенья догадался и Лямин.

Снова серая ухмылка довременного страха опалила: теперь не грудь его и лоб, а спину.

- Так вы их хотите...

Не договорил. Теперь Юровский понял.

- Мы не убийцы.

- Да ведь и мы все тоже!

- Вы – бойцы. Стрелки. Вы красноармейцы! И служите нашей великой революции. Вот кто вы такие!

- Так точно, товарищ...

- Яков!

- Яков. – Не выдержал. – Дайте, это, папироску!

- А где, боец, твое «пожалуйста»?

- Пожалста.

Юровский вытянул из пачки чужеземное курево. Поднес Лямину зажигалку.

«Гляди-ка, я как господин, а он мой слуга».

«Он твой товарищ! Красный комиссар! Ровня!»

«Никогда он мне ровней не станет. И я – ему».

Теперь Михаил курил, а Юровский смотрел на него: мрачно, тяжело, куда и смешок делся, и птичья улыбка, когда губы – клювом.

- Запомни. Мы никому не мстим. И мы – не мясники на рынке. – Словно урок ему, Лямину, читал; или сам себе – плавную, размеренную иудейскую молитву. – Нам не кровь нужна. Это для нас не вино. Это там, давно, когда французы свою революцию делали, публика кровью, как водкой, опьянялась. И требовала еще и еще. Мы далеки от этого сладострастия. Мы не маркизы де Сады!

«Про какие-то сады болтает. Про маркизов! Для господ понятно...»

- И для нас никаких наций нет. Никаких! Бог русских, бог немцев, бог татар и башкиринов, бог бурят, бог евреев... какие, к черту, боги?! Все в них давно запутались! И мы не мстим им, - как миг назад Лямин, на зев двери кивнул, - потому, что они верят в своего бога, а мы ни в каких богов не верим. Хотят – верят! А мы хотим – и не верим! Кому лучше, легче? А?! Кому?!

- Нам – легче, - выдохнул Лямин и потер губы кулаком, будто чесались они.

- Хоть они, - опять кивок, - нас и били, и кровавили, и – с лица земли стирали! Я, Лямин, погром пережил. Это – не дай бог никому пережить! Я – чудом выжил. А эти... вы, русские!.. бежали по улице и орали: смерть, смерть! Все – сжечь! И – жгли. А улица вся, вся – выла. Выл каждый дом. Этот страшный вой, Лямин... один раз услышишь – и поседеешь. И я, мальчонка, в ту ночь враз поседел!

Лямин покосился на фуражку Юровского. Юровский фуражку сдернул. Волосы, чуть волнистые, как белым пеплом присыпаны.

- А бог... что бог. – Слово «бог» Юровский так выдавил из губ, будто выплюнул нажеванный и прилипший к зубам ком вишневой смолы. – Богом нас отец замучил. Он все время молился, и нас заставлял. Мы ни слова не понимали на иврите, а он – заставлял! Как попугай, молитвы заучивали. Чтобы – от зубов отскакивало. Будни, праздники, утро, вечер – все равно: на молитву – вставай! Я в детстве хотел убить богатых... и хотел убить бога. Чтобы больше никто и никогда ему не молился.

Лямин сам не заметил, как искурил папиросу.

«Махра, мать ее еги, дольше курится».

Юровский сжал руки, и пальцы громко, противно хрустнули.

- Мой бог – народ! – крикнул он не то чтобы громко, но зло и очень отчетливо. Будто на площади, перед строем, выкрикнул жесткую команду. – Народ, навсегда! Народ не только России – а всего мира! Во всех странах! Охмурили народ богами. Голову ему задурили вконец. А народ – он счастья достоин. Счастья! А его – батогами, барщиной, поденщиной... богом этим. «Миром господу помо-о-о-олимся!» - Православный возглас священника передразнил издевательским, бараньим бляньем. – Забили... запороли! И он, запоротый, в крови, все полз и полз. Вперед – полз! И до революции – дополз. Ну уж мы теперь то, что завоевали, шиш отдадим! – Лямин глядел на сжатый, крепкий булыжник кулака Юровского. – Шиш упустим!

Приблизил башку, пахнущую куревом и потом, к Лямину.

Лямин косил и видел краем глаза, как по виску Юровского из-под блестящего обода фуражки течет мелкий пот.

- И запомни: я не еврей. И Голощекин – не еврей. И ты – не русский. И Фаттахутдинов – не татарин. И Сафаров – не башкирин. И Дзержинский – не поляк. И Джугашвили – не грузин!

И Ленин... да кого только к Ленину не приклеивали! Не немец он. Не калмык. Не еврей. Не русский. Запомни навек: Ленин – вождь мирового пролетариата! Он – не бог! А человек! Какими станут все люди, все!.. после мировой революции. За Лениным – пойдут! К коммунизму! К единому человеческому дому! К господству, запомни, не царей шивых, а – народа!

- Так мы же, - подал голос Лямин, - за народ и бьемся...

- Черт! За народ! Да! За всемирный, точнее, пролетариат! Вот за что! И наша партия...

Лямин опустил голову, всем видом выражая полное согласие с криками Юровского.

Юровский мелко дрожал, и пальцы его дрожали.

- Вы это, закурите, - заботливо подсказал Михаил.

Юровский ощерился, еще б немного – и огрызнулся.

«За что злится? Что я ему такого сказал?»

- Сам знаю, что мне делать!

«Вот я уже и с грязью смешан. Он все одно надо мной, а я внизу».

- Борьба, Лямин! Не на жизнь, а на смерть! Чуешь? Видишь?!

- Вижу.

- Страшная борьба! И мы все... мы погибаем в ней. За счастье! За будущее! Ты погибаешь.

Друзья твои погибают! А история, история... она что? Она корчится, корчится...

коржится... - Юровский подвигал скрюченными пальцами, изображая боль, мученье. – Она

– баба! Она – рождает! А родов, ты знаешь, без воплей и крови – не бывает! Или что, по-

твоему, бывает?!

- Не бывает.

Ноги затекли. Михаилу хотелось встать, разогнуть колени. Но сидел как в землю вросший.

И крыльцо ехало, плыло под ним.

- То-то! Так вот мы, мы все!.. знаешь кто?

Лямин мотнул, как бык, головой.

- Мы – повитухи у этой чертовой роженицы!

- Мы? Повитухи?

- Ну кто-то должен ведь на руки – будущее – принимать! И перевязывать эту кровавую, черт, пуповину!

У Лямина даже не было сил соглашаться, кивать.

Юровский уже голос крепко возвысил, почти орал.

Как на трибуне.

- И нам надо много людей убить, чтобы младенец – здоровеньким родился! – Брызгал табачной слюной. – Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч надо уничтожить! А может, и миллионы! И надо твердо, хорошо знать, кого надо – пощадить! Жить оставить! Потому что они – достойны! Они – свои! Они – эту жизнь, это будущее – заработали! Своим горбом! Из черного прогала двери показалась чья-то голова. Спряталась.

Видно, любопытствовали, кто тут так орет.

- В этом-то вся и загвоздка: как узнать, кого? Кто – свой? Пролетарский, пострадавший?!

Мученик... герой! – Пот заливал скулы и шею Юровского. Он сдернул фуражку. Мокрые седые волосы совсем по-бараньи закурчавились. – Они говорят: вот мы – герои! А вы – быдло навозное! Ну уж нет! Все наоборот. Это мы – вас – в крови потопим! Мы – на ваших костях – карманьолу спляшем!

- Карман... что?..

- Неважно! Кадриль! Семь сорок! Спляшем! И кости в пыль потопчем! И кровью вашей – умоемся! Мы выберем прекрасных. Отсеем. Отсечем! А всем остальным – золоченой грязи, подонкам этим, мучителям, хищникам – головы – порубим! В крошево – расстреляем! Чтобы мясо... клочьями с костей свисало...

«Эка его разжигает. Доктора б ему!»

Лямин и пугался, и почему-то смех его разбирал.

«Нечестивец я; над начальником смеюсь».

- Вот ты, Лямин, думаешь небось, что ты – человек!

Михаил оглядел себя.

«Ты только не улыбайся гляди, губы от улыбки береги».

Изо всех сил напрягся, не хохотал.

- Ну, человек.

- А вот и нет! – Юровский прищурился торжествующе. – Ты – матерьял!

- Что, кто?

- Ма-те-рьял!

- Это что же, отрез, что ли? Сукно?

Ямки смеха уже подло вспрыгнули на щеках.

Юровский прищурил оба глаза. И распахнул их. Тьма широкими волнами ходила в них – от зрачка к зрачку. Колыхалась.

- Все мы – матерьял истории! Она нами вертит, крутит, нас режет, и да, мы отрезы, и именно из нас кроят шинели и скатерти, простынки и матрацы. Из нас! Мы наивно думаем: мы – люди. Шиш! Мы-таки не люди! Мы – ткань, кирпичи, щебенка! Рельсы мы, и нас кладут! Но когда мы сами становимся хозяевами – кого выбросить, а кого оставить, решаем мы! Кого сжечь дотла, и чтобы не воскрес! А кого – в загон, и пусть размножается!

Лямин сглотнул, кадык дернулся, как затвор винтовки.

- Плодитесь, епть... и размножайтесь...

- Верно подмечено! – Юровский уж сам смеялся, и Лямин облегченно стал вторить ему, выпустил преступный хохоток на волю. – Люди – матерьял! Из нас время строит, и нас же – на свалку выкидывает. Сколько поколений сгнило на свалке! Но теперь все будет по-другому. Вот увидишь! Вы все увидите! И у нас, главное, у нас есть глаза.

«У нас – это он про них, про комиссаров».

- Мы хорошо видим, кто хорош, а кто плох. Кто – золото, а кто – дерьмо. Мы взяли за ужасный гуж. Эта наша работенка хуже любой золотарской. Золотарь дело имеет с дерьмом, с выгребными ямами. А мы – с дерьмом истории! Представляешь, какие это громадные Авгиевы конюшни?!

- Ав... ги...

- Начхать! Ты и так все понял!

- Я – понял.

- И я понял! И мы оба поняли! Ты вот в церковь ходил, небось?!

- Как же мы... без церкви-то... у нас в Буяне все ходили.

«К чему он тут церковь приплел?»

- И лоб крестил? И попу в ножки падал?!

- Ну да. А как без этого. – Лямин нежданно озлился. – Чай, на исповеди все в ноги попу валятся! И – ничего. Не срамно это! Это обычай такой!

«Объясняю ему, как в школе...»

- И тебе поп наверняка гундосил: твоя жизнь священна, твоя душа священна, жизнь человека священна, жизнь ближнего твоего священна! Возлюби ближнего твоего, как это у вас там, как самого себя?! Да?!

- Да. – Михаил низко, до ключиц, наклонил голову. Подбородком груди коснулся. – Это Христос сказал. В Новом Завете.

- А, ну да, Евангелие ваше! – Юровский тер пальцами друг об дружку, будто счищал липкую паутину или прилипшую рыбку чешую. – Ненавижу. Ненавижу этих попов ваших! Эту церковь, жирную каракатицу! Всю историю – вашей кровью питалась! Из народа кровь сосала! И богатела, и жирела, и кровью и золотом наливалась! Оклады все эти золотые на ваших иконах – народной кровью помазаны! Лики эти сладкие – кровью писаны! Богомазы кисти не в яичную темперу – в кровь окунали! Ненавижу! – Выдохнул. – И – не только я ненавижу. Ненавидим все мы. Кто делает революцию. Потому что знаем, что есть – лучшее. Чистейшее. Есть – счастье. А у вас, у нас всех его отняли. И на куски, как селедку, разрезали. И сожрали! За этими их монастырскими ли, царскими ли столами! Как эту их... осетрину,

севрюгу... наше счастье – икрой – на булки белые мазали... сметаной поливали – и жрали, жрали...

Передохнул, воздух ртом ловил, будто реку широкую переплывал.

- И что? Мы взяли верх. Взяли – власть! Теперь мы – их – стережем. Думаешь, Лямин, мы жизни их сторожим? Не-е-е-ет! Мы – стережем – покойников, ведь они уже все – умерли! Только они еще об этом не знают! Ха, ха-а-а-а-ах... - Засмеялся страшно и тут же закашлялся, и долго кашлял, будто выкашливал из глотки рыбью кость. – Они думают... они живут! Да время уже давно разбросило свои кости. Мы – уже выиграли в этой игре!

Лямин осмелился и спросил. Ему уж очень хотелось об этом комиссара спросить.

- А мы-то, мы-то... еще долго будем сражаться? Ну, и умирать? Жить ведь хочется!

Он хотел сказать это весело, а получилось – жалобно.

Юровский резко повернул голову. Лямин думал – у него шея сломается.

И будет он глядеть, как сова на суку, голову обернув сумасшедшим клювом и круглыми глазами над серой спиной, над крыльями.

- А ты, боец Лямин, что, сильно жить хочешь?

Михаил молчал.

«Черт, стыдно. Вышло так, будто я трус. Или баба».

- Или – приустал уж очень?

Лямин поковырял пяткой сапога сухую жаркую землю близ крыльца.

- Что молчишь? Нечего сказать? Запомни, боец: идет жесточайшая классовая борьба. И пока не видно ей конца. Что, хочешь, чтобы я тебе сказал, сколько еще времени осталось воевать? Год, два, три, десять? Сто лет? Я этого тебе сказать не могу. Я – не твой бог. И не провидец. Я такой же... боец, как ты. Они все, - кивок на дверь, - виноваты перед нами. Перед всем народом. Смертельно. И смерть им будет. Сегодня или завтра – это не мне решать. Но когда передо мной человек, я прежде всего спрашиваю: к какому классу ты принадлежишь? Кто ты? Царь ты, спиногрыз и убийца, или ты пахарь, рабочий у станка, что трудился на господина и плакал кровью?

«Вот угостил бы еще папироской этой замысловатой».

- Мы – их – не потому убиваем, что мы – звери. Нет! Мы не звери. Лямин, нет! Не звери! Вот ты разве – зверь?

У Михаила странно и стыдно защипало в носу. Он вдруг увидел, как вживе, свою собачку – ребенком была она у него, жила в их избе: на крыльцо щенка подбросили. Сколько ему было? Он уж и не помнит. Лет пять, шесть. И как назвали щенка, тоже забыл. Вроде Кузя. Они оба мало отличались друг от дружки. Вместе возились на полу, под ногами отца, близ его остро пахнущих свежей ваксой сапог. Сапоги угольно блестели, собачка тьякала и острыми, как иглы, зубами хватала Мишку за руки, за ноги, прокусывала рукава и штаны, прокусывала кожу, текла кровь. Мишка плакал и смеялся сразу. Очень любил он ту собачку. Однажды пришел к ним в гости, с ружьем, пьяный в дым охотник Вася Круглов, и еще с отцом пили, хорошо добавили. И Вася Круглов схватил ружье, оскалился, зарычал, прицелился и застрелил Кузю. Может, в пьяном дыму щенок показался ему зверем; волком. Никто не знает и никогда уж не узнает.

Он помнит, как он трясся, а Софья, сама еще девчонка, отпаивала его валерьянкой, как кота, а он вертел головой и выл, не хуже зверя. Так кто зверь? Васька-охотник, собака, любой человек с ружьем, с ножом, - или зверь на воле, в лесу и в поле, гордый и честный?

- Нет. Я – не зверь.

- А может, зверь?

Вопрос из уст Юровского вдруг прозвучал хитро, изгибисто. Будто ящерка по доскам проползла.

- Нет.

- Точно?

«А может, и правда зверь. Я ж убивал!»

«Убивают – люди. Люди только и убивают, чтобы убить. Звери – чтобы жить».

«Значит, человек?»

Чуть не рассмеялся горько над собой. Вытянул затекшее колено. Пошевелил ногой в сапоге.

- Да зверь, зверь.

«На, подавись».

«Как разговариваешь с комиссаром!»

«Да он меня вынудил».

- Виноват, товарищ... Яков.

Лицо Юровского странно закруглилось, загнулось. Загнулся плавно, дверной ручкой, нос; выгнулись пельменями чуткие уши; округлился подбородок; загнулись кверху, как у женщины, ресницы; выгнулись брови, замаслились глаза. «Господи, что это с ним? Он весь как вяземский пряник стал».

- Виноват? Ах ты зверь, зверь. – Еще немного, и погладил бы Михаила по спине, по лбу. – И я тоже зверь. Мы оба – звери. Только... - Притиснул к нему хитро округленное лицо, и сильнее запахло потом и корицей. – Боимся себе в этом признаться. И верно. Будем их грызть... терзать. – Усмехнулся. Лицо скривилось. Лямин хотел всерьез испугаться, да над страхом своим молча смеялся. – И пусть с наших клыков кровь капает. Террор! Он такой. Всегда. Он другим просто быть не может. Да? Да?

Спрашивал мягко, вкрадчиво, но настойчиво.

И надо было отвечать.

«Как бы разговорец этот закруглить... половчей».

- А что ж такое... террор этот?

- Красный террор, боец. Красный террор. Без него ни одна революция не обходится. – Глаза замасливались все сильнее, гуще. – Это когда множество смертей решает жизнь и судьбу новой страны. И среди этих смертей далеко не все – справедливые. Коса косит и невинных. Но так надо. Коса сама знает, что делает.

- Мы до сих пор сражались – с врагами.

- То бишь с виновными? Ты так уверен в этом? Мало безвинных крестьян погибло? Тех, кто за беляков? Мало – бывших – дамочек, их дочерей, сынков малолетних – в городах? Я сам таких дамочек расстреливал. В упор. Из пулемета. Косил, и они ложились мне под ноги. И сапоги – по щиколотку – в крови. И пахло, знаешь, так солено. И немного сладко. Кровь, она же соленая и сладкая вместе. И знаешь? Хотел склониться, ладонью черпнуть и – хлебнуть. Честно, хотел!

Лямина будто черная туча обняла, холодная, с градом в брюхе.

- Много вы пережили.

- Будто ты не пережил? Все мы видали виды.

- А... эти? – Чуть заметно опять на дверь кивнул. – Ну он, ну ладно, виноват. А – девчонки эти? Мальчонка? Баба эта его?

- Баба эта, - Юровский наставительно поднял палец, уперся локтем в колено и так строго палец держал, - главная повариха всего страшнейшего варева: войны, доносов, шпионства, развала хозяйства. И Распутина, хахаля своего, она тоже сварила-таки в котле. И съела. Вот она – зверь настоящий.

Лямин прищурился и сам для себя неожиданно, сухо и тихо, спросил:

- Убьете?

Спросил и утратился.

«Что мелю».

«Да ничего! Все к этому идет!»

На кончик пальца Юровского села краснобрюхая стрекоза. Качала чуть желтоватыми, стеклянными, в мелкой сетке, крыльями. Улетела. Комиссар скрючил палец, почесал ладонь и без звука засмеялся, показывая чуть закругленные, как у зайца, желтые прокуренные зубы.

- А ты как думаешь? Ты вот знаешь, что наш вождь говорит?

- Откуда ж я знаю. Телеграфом не пользуюсь, газет не читаю.

«Только от вас команды слушаю да выполняю».

- Ленин так учит: надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых, чтобы отучить их преемников от преступлений!

Мороз подрал у Лямина по вспотевшей спине, по хрустнувшим лопаткам. Он уже беззастенчиво разглядывал Юровского. Круглые, мощные скулы над чуть впалыми щеками. Темная маленькая, клином, бородка, и седые нити в ней, и чуть курчавится. Черная куртка из твердой мореной кожи скрипит на сгибах. Куртку шили из кожи зверя, и зверь внутри нее спрятался, сидит. Затаился. Улыбается тонко. Смеется беззвучно. А разве звери умеют смеяться? Все они умеют. Они – ученые. Цирковые.

«Значит, он знал все еще там. На вокзале. Когда они на перрон сошли. Они к моторам шли, их шоферы везли, а он уже все знал».

- Что молчишь? Над словами думаешь? Каковы слова вождя? Руководство к действию.

Шея у Юровского была такая короткая, что казалось – голова приклеена густым вязким клеем сразу к грудной клетке. И ему ее трудно поворачивать. И он может смотреть только вперед. А если назад – обернуться всем корпусом, всем телом, и снова смотреть назад, как вперед.

- Хорошие слова, - осторожно вымолвил Лямин.

И замолк.

Слушал, как двигается и дышит зверь.

- А ты знаешь, боец, кем я был до революции?

Лямин опять испугался: вопроса, откровенности.

- Ну откуда ж мне знать.

- Медиком я был. Фельдшером. В хирургии служил. Иной раз, если вдруг хирург занеможет, и операции делал. Сам. И тоже, знаешь, кровящи насмотрелся. Кровь текла – ух, рекой! А я привык. Мне ничего. Я, Лямин, знаю хорошо, что такое кровь. Никакого бога в человеке нет. Есть только кровь. Она вся вытечет из тебя – и тебе конец. И все. Никаких икон, никаких завываний с амвона. Слышишь?!

От тихого мурлыканья внезапно к истеричному крику перешел, и Лямин отшатнулся.

- Слышу. Фельдшер, значит. Это для войны правильная специальность.

- Верно. – Опять круглая, уклончивая усмешка. – Если кого глубоко ранит – и пулю вытащу, и перевяжу. По науке. Я ловкий. Меня доктора хвалили.

Вытянул над коленями руки и пошевелил гибкими, гнущимися в крючья пальцами.

«Только б не спросил опять про Ленина».

- Ну так что ж, про слова Ленина молчишь? Ты-то сам – как мыслишь?

«А что, если скажу – никак? Меня – расстреляет?»

- Да я ж сказал уже. Верно это все. Другого пути нет.

- Ты так обреченно это говоришь, хм.

Лямин опять обозлился.

- Ну правда ж нет!

Юровский похлопал его по руке. Рука Юровского голая была, а такая холодная и твердая, будто в кожаной перчатке.

«Рожа потеет, а руки холодные, как у покойника».

- Правда, правда. Это единственная правда, что нам осталась. Что глядишь так, зверь? Нам! Пролетариату!

«А фельдшер – пролетариат?»

- А вы долго в хирургии-то прослужили?

Юровский поднимался тяжело, тяжело отрывал зад от досок крыльца, будто приклеенный.

- Сколько прослужил, все мое. – Положил руку на плечо Михаилу, и опять сквозь гимнастерку пробрались угольная твердость и пещерный холод этой чужой плоти. – Знаешь, боец, нравилось мне это дело врачебное, да, очень по душе было, и на врача бы выучился, и... пополнил бы ряды этих, преуспевающих, богатых, спокойных-сытых. И больные меня любили. И я их... да, тоже... таки любил. Все было вежливо! Чистенько так! И жалованье. – Помолчал. Надавил рукой на плечо Михаила. – Я вот когда здесь появился, ну, когда мы всех

привезли в Дом... пришел наследника осмотреть. Они пожаловались, у него нога болит. Я осмотрел. И они все... вообрази... поверили, что я врач! За доктора – меня приняли! Бывшая царица и называла меня так: доктор, а вот то... доктор, а вот это? Ха-ха, ха-а-а!

Смеялся, и желтые, заячьи выгнутые зубы в закатном солнце блестели.

Лямин дрогнул всем телом, как зверь, и тоже поднялся.

- Доктор, а я могу идти?

Шутка не вышла.

Стояли, двое, друг против друга, и странно стояли – вроде как два врага, не как сообщники. Не как начальник и подначальный. Противостояли.

«Мы как два зверя. В тайге. В степи. И один сейчас бросится в реку и поплывет. Один – от другого – спасаться будет. Кто – от кого? Он от меня? Я от него?»

- Боец Лямин! Вольно!

Смеялся.

- Да у нас тут и так все вольно.

- Это – редко бывает! Цени.

- Я ценю.

- Ты знаешь, что сказал Карл Маркс?

- Нет. Не знаю.

«Неученый я, крестьянин, а он надо мной потешается».

- Мы должны ускорить агонию отживающих классов. Понял? Слышишь? Агонию. А-го-ни-ю!

- Понял. Агонию.

- Более того я тебе скажу. – Опять придвинул лицо. И опять пахло зверьим потом и печеньем с корицей. – Они все – уже мертвецы. А мы – их могильщики. Пролетариат могильщик буржуазии, вот тоже мудрейшие слова; а еще могильщик вот этих, кто – выше всех, наверху пирамиды. Самый-таки наипервейший. И лопату в руках держать мы умеем. Уж яму им выкопаем – знатную! Сразу все уместятся. Ха, ха!

Лямин растянул губы в улыбке, подыграл.

- Верно.

- Еще бы не верно!

Вечером, уже стемнело, и небо вызвездило, боец Дмитрий Митрофанов выстрелил в окно Дома из винтовки. Пуля попала не в стекло, а в стену, и отскочила, срикошетила.

Митрофанов еле успел уклониться. Пуля ему над ухом свистнула.

У окна, плотно, на все задвижки закрытого, стоял царь. Он хотел хоть глотка свежего воздуха.

Он слышал выстрел. Он не видел звезд сквозь покрашенное известью стекло. Он их только помнил, какие они. Он сел к столу, раскрыл тетрадь, взял ручку, снял с мраморной чернильницы стальную крышку и обмакнул вечное перо в густые, темные, как венозная кровь, чернила. Как всегда, он аккуратно, старательно записал, что произошло.

Как стрелял в окно часовой; и как он сам тоскливо постоял, пошевелился у слепого, ночного, жуткого окна.